

# Wiera Bielousowa

---

## Два взгляда на один факт : (к интерпретации дуэли Пушкина Владимиром Соловьёвым и Василием Розановым)

---

Acta Polono-Ruthenica 3, 211-216

---

1998

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Wiera Biełousowa  
Olsztyn

**Два взгляда на один факт  
(К интерпретации дуэли Пушкина  
Владимиром Соловьёвым и Василием Розановым)**

Литературно-критические интерпретации смерти Пушкина в русской культуре имеют несколько исходных идей, каждая из которых, естественно, срastaется с личностью автора, его человеческим опытом, уникальным смыслообразом мира. Одна из них рассматривает эту трагедию как судьбу, что нашло своё наиболее полное воплощение в очерке Владимира Соловьёва *Судьба Пушкина*, напечатанном в 1897 году в „Вестнике Европы”. Она интересна как нестандартностью постановки вопроса, так и взглядом на великую личность, который разрушал тенденцию к абсолютной правоте поэта, „солнца русской поэзии”, в разыгравшейся трагедии. На статью Соловьёва откликается его „антипод” Василий Розанов своей работой *Христианство пассивно или активно?*, который не принимает однозначной „принуждающей истины” философа, опровергает её, выдвигает свою концепцию гибели поэта. Прочитывание, выявление логики смыслов соловьёвской и розановской интерпретации дуэли и смерти Пушкина - цель данной статьи.

Идея судьбы в контексте европейской культуры имеет два смысла. Первый, идущий от мифологических представлений к греческому, затем римскому, предполагает заданный миропорядок, царящий над всем закон вечной справедливости. Это фатум, рок-необходимость. Сквозь призму такого языческого понимания судьбы рассматривает, например, смерть Пушкина Марина Цветаева. В её трактовке **судьба** посредством Гончаровой выбирает Дантеса; Наталья и Пушкин - „языческая пара, без бога, с только судьбой”.<sup>1</sup> Пуш-

---

<sup>1</sup> М. Цветаева, *Мой Пушкин*, Москва 1981, s. 134.

кин Дантеса вызвал бы и за взгляд, „..дабы сбылись писания”.<sup>2</sup> Наталья для поэтессы - не причина, а только повод к смерти, с колыбели предначертанной: „На первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина”<sup>3</sup>; судьба - коррелят вечности, непреходящего „теперь”, в котором все кругообороты сущего предзаданы и предсуществлены.

В христианском миропонимании судьба предстает не законом равнодушной природы, не абсолютным фатализмом; в ее понимании появляется идея человеческой воли: „Пушкин показывает нам [...] те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, усложнена. Судьба вообще не есть простая стихия, она разлагается на два элемента: высшее добро и высший разум и присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимо от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только через нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением - Провидение Божие”<sup>4</sup>, - пишет религиозный философ Соловьёв. Основная посылка его рассуждений заключена уже в трактовке самой судьбы, которая оказывается связанной с истинным понятием добра, волевым выбором добра в жизни. Поэт, по мнению Соловьёва, „сообразно своей собственной воле закончил своё земное поприще” (с. 345). А это значит, что волевой выбор Пушкина пришёл в противоречие с соловьёвским понятием добра. Какова же логика рассуждений этого влюбленного в „чистую мысль” философа, постулирующего вышеприведенный вывод? Она строится на соотношении понятий Гений-Человек, Добро, Зло и в своей постановке перекликается с пушкинской трактовкой гения и злодейства, данной в трагедии *Моцарт и Сальери*. Однако, в отличие от пушкинской, соловьёвская трактовка приобретает амбивалентность: теоретическая посылка утверждает несовместимость гения и зла; практически, в реальной земной жизни поэт, по Соловьёву, совер-

---

<sup>2</sup> Ibidem, s. 135.

<sup>3</sup> Ibidem, s. 140.

<sup>4</sup> В. Соловьёв, *Судьба Пушкина*, [w:] В. Соловьёв, *Стихотворения. Эстетика. Литературная критика*, Москва 1990, s. 365. Далее цитирую по данному изданию.

шает злодейство, выстрелив в Дантеса: „последний взрыв злой страсти решил его участь... Пушкин был убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна” (с. 360), - заключает он.

Корень этой амбивалентности, думается, лежит в соловьёвской концепции гения и в идеале - совершенного человека. Пушкин-гений, а гений - не чудо природы, а человек, - постулирует философ. Но подчеркнув не абстрактность, а живую человеческую сущность этого феномена, он, исходя из своей идеи богочеловека, наделяет его, во-первых, сверхчеловеческими идеализированными качествами: для него это высшая степень нравственного долженствования, это тот, кто преодолел несовершенство земного бытия, это, как бы, Бог в возможности. Во-вторых, Соловьёв, по сути, снимает единство гения человека, противопоставив идеализм творчества поэта и реализм житейских взглядов, разделив на жреца Аполлона и ничтожнейшего из людей, подчеркнув, что его нравственный слух „был менее чутким, нежели слух поэтический” (с. 350). Философ утверждает, что те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу жизненных событий и лиц и затем составляли содержание его поэзии, „вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни” (с. 349), что возможные исходы из противоречия между поэтическим идеалом и жизнью Пушкин не реализовал и не стал „исправителем действительности” (с. 300). В концепции соловьёвской мысли Пушкин не стал богочеловеком, для которого нет неразрешимых проблем, не смог преодолеть собственное несовершенство, за что - в конечном счёте - и осуждён философом на смерть. Из рассуждений Соловьёва вытекает, что творит не универсальный - целостный человек, а его некая особая ипостась, наделенная **абсолютной** нравственностью, сверхчеловеческим достоинством, которая и есть гениальный поэт. Поэтому он не прощает поэту ни его эпиграмм, ни человеческого раздражения, ни его высокомерия, обвиняет в том, что он опустил до уровня своих врагов, став тем самым открытым для их замыслов. Отсюда и вывод Соловьёва: „В его отношении к неприязненным лицам не было ничего ни гениального, ни христианского, и здесь - настоящий ключ к пониманию катастрофы 1837 года” (с. 354). Но в поэте и любовь, и предательство в любви, и верность в дружбе, и высокомерие, и одиночество, и общительность - всё находится в единстве,

составляя его уникальный мир. Таким образом, заявив, что гений есть человек, Соловьёв в логике дальнейшего рассуждения впадает в противоречие, не признавая, что „Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин - бесчисленности своих ликов и обличий - всё это спаяно и держится в нём одним: поэтом”.<sup>5</sup>

Логика бинарности **гений-человек** приводит философа к парадоксальному выводу: он осуждает человека Пушкина на смерть за его гениальность, так как гений для него - это чувственность и бесстрастность. „Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты”, - замечает он (с. 346). Но поэт защищал реального себя, всю полноту своего „Я”, вне которой не существует гениальности. По сути, он отказывает поэту в праве любить, ненавидеть, проповедует подавление чувств, рационализацию духовно-эмоционального мира - отказывает в естественном праве быть самим собой. Реальный, живой Пушкин, страстный, бунтующий, оклеветанный, морально убитый, находящийся на той грани, где единственной реальностью было страдание, должен был как гений повелевать своими страстями и в преддуэльный период, и в момент дуэли. Острота страдания любого гения, его увязчивость, повышенная чувствительность не учитываются доводами разума Соловьёва - всё это может быть дано человеку, но гений обязан переплавить страсть в добро. Страсти для философа оказываются злом, правота - в добре. Смерть, по его логике, отступает перед святостью: идеализированное смирение - залог пушкинского выздоровления. Таким образом, добро Соловьёва оказывается безмятежным, поэтому и Провидение Божие - пассивным.

Полемизирующая статья Василия Розанова исходит из мысли о том, что христианство - не пассивно, а активно, так как для него в Спасителе слиянно как Божество, так и человек в сплетении страстей своих, „не в предикатах только своих, но и в самом существе”.<sup>6</sup> В этой трактовке соловьёвская разобщенность гения и че-

<sup>5</sup> М. Цветаева, *Мой Пушкин*, s. 131.

<sup>6</sup> В. Розанов, *Христианство пассивно или активно?*, [w:] В. В. Розанов, *Религия и культура*, Москва 1990, s. 192. Далее цитирую по данному изданию.

ловека, на иной почве, обретает единство, человеческая воля - право на активность, на „святое негодование”. Тут находит своё воплощение розановская мысль, которая пронизывает всё его мироощущение, о том, что Бог личен, жив, свободен, в нём человеческое не искоренено, в нём - корни человеческих страстей, его личностное представление формирует самого человека. Основная посылка Розанова-оппонента заключается в том, что Соловьёв, приняв идею пассивного христианства, пассивный идеал Бога, неправильно оценил судьбу Пушкина, осудив поэта за активность „так строго, что даже присудил к смерти” (с. 196). Он - для Соловьёва - пал жертвой губительного гнева. Но разве „нет святого негодования?” (с. 186), - спрашивает Розанов. Именно непризнание этого божественного чувства, по логике Розанова, приводит к бесстрастным выводам самого Соловьёва, убивает чувство скорби и гнева около памяти поэта. Розанов обрушивается своей статьёй и на Соловьёва, и на всех тех, чьи мысли и чувства стали похожими на „обыкновенную ледяную сосульку” (с. 188), из идеи пассивного христианства выводит лицемерие, бездушность, безразличие общества, тем самым осуждая его за гибель поэта. Если Соловьёв судит живого человека по рассудочным меркам, часто жертвуя самоочевидными выводами, то Розанов „мыслит” собственным неравнодушием. Его мысль движется опосредовано, ассоциативно, эмоционально-образно, включая литературные примеры-притчи, пушкинские тексты. Она часто в подтексте, пронизана страстностью, которая хочет возмутить „бескрылое желание” соловьёвской мысли.

Для Розанова Пушкин - не некое абстрактное начало, заключенное в слове „гений”, а полнокровный живой человек-гений. Противопоставив соловьёвской мысли идею святого негодования, он сквозь социальную и психологическую призму доказывает правомерность Пушкина на такое чувство. Первая обосновывается через отрицание самой идеи „ангельского человека”, которого „требует” Соловьёв от поэта-гения. Для Розанова Пушкин - реальный человек, живущий не „в царстве не от мира сего”, а в обществе, „без тайны, без трогательности и нежного, [...] где жизнь человека привычно мелка, [...] атмосфера пронизана холодом и, в сущности, каждый порознь есть полузамерзающий” (с. 196). Человек, которого тревит „стая ужасных гончих” (с. 197), не щадя даже его кров,

имеет право на благородный гнев, на сопротивление. Поэтому последний выстрел поэта и его слова: „Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы выстрелить” - полностью разделяются Розановым. Для него - это простота и правда пушкинского гнева.

Психологическое обоснование святости гнева Розанов связывает с тем, что поэт защищал свою семью, свой дом - высшие человеческие ценности. Этот аргумент наиболее непосредственен и значим для автора, чья семейная история, „свой дом” (Розанов) стал основой всего его творчества. Двусмысленность розановского положения, который так и не получил от Суловой развода, тайное венчание, роль „сожителя” в истинной семье, невозможность „вызвать на дуэль” общество и церковь породили не только соперничество поэту, но и тот гнев против бесстрастности, который сам Розанов мог излить только в творчестве.

Еще один психологический аргумент Розанова видится в том, что Пушкин защищает не свою жизнь, а честь, что и даёт ему право на последний выстрел, не только нравственно оправдывает, но и возвышает его. Вопреки соловьевской мысли, для Розанова Пушкин-человек оказался равным Пушкину-поэту, ибо конкретным жизненным поступком продемонстрировал то, что провозглашал в своей поэзии - страсть, волю, „неизъяснимы несладженья” („Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Незъяснимы наслажденья”). По его логике, именно дуэлью и выстрелом поэт мог восстановить в своей душе гармонию, которая определяла его поэтический гений, дать урок страстности в жизни. То есть, для Розанова личная воля Пушкина определила его судьбу, внешним проявлением которой было нарушенное слово императору (иначе дуэль не состоялась бы) и последний выстрел; но это не пассивная воля Соловьёва, а единственно возможный выбор „вольного гения России”<sup>7</sup>: Соловьёв, адвокат добра, оказался судьей поэта; Розанов - поборником, защитником праведного гнева Пушкина, который не только постулировал художественным вымыслом, но своей жизнью доказал несовместимость гения и злодейства.

---

<sup>7</sup> Б. Вышеславцев, *Этика преображенного эроса*, Москва 1994, с. 165.